

Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Год XXXVI

№124

1982

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Леонид БОРОДИН — Гологор 5

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Александр БАХРАХ — Вспоминая Алданова 155

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

СЕКРЕТНЫЙ ДОКЛАД ГЕНЕРАЛА МАХРОВА

От редакции 183

Н. РОСС — Краткие комментарии к докладу 190

Ген. П. С. МАХРОВ — Доклад Главнокомандующему Вооруженными Силами на Юге России 196

ПУБЛИЦИСТИКА

Н. РОСС — В Крыму при Врангеле 244

БИБЛИОГРАФИЯ

Ю. Жедилягин. „Прыжок в сторону” 269

Александр БАХРАХ

Воспоминания Алданова

Прошло 25 лет с тех пор, как 25 февраля 1957 года, в Ницце, скончался Марк Александрович Алданов.

Его многостороннее творчество всегда удивляет читателя исключительной эрудицией в области новой и новейшей истории. О чем бы ни писал Алданов — о 9-м Термидоре, о мартовском заговоре 1801 года, или, наконец, об Октябрьском перевороте 1917 г. — всегда можно убедиться, что он не только использовал почти всю изданную литературу, но и провел немало времени в архивах или в поисках живых свидетелей. Но Алданов был, конечно, не только эрудитом, а и выдающимся мастером в жанре исторического романа.

В связи с 25-летием со дня смерти Марка Александровича Алданова А. В. Бахрах посвящает ему свою статью.

Р е д .

„Я не могу решить — идут ли человеческие дела по закону судьбы и необходимости или подчинены случаю“.

Тацит

Мне с трудом верится, что прошло больше двадцати пяти лет с того вечера, когда я в последний раз видел Алданова. Пригласил я как-то на чашку чая двух-трех старых друзей и так вышло — дело случая! — что к ним почти непредвиденно присоединился и Алданов. Хотя был я с ним знаком с неза-

памятных времен, но между нами никогда не было той дружеской близости, которая установилась у меня с рядом литераторов — его сверстников, — когда возрастная разница не принималась в расчет.

Между тем, мне всегда казалось — и, вероятно, я в этом не был исключением, — что он проявлял ко мне известное расположение, несмотря на то, что наши встречи были всегда спорадическими, иногда они бывали довольно частыми, иногда без видимой причины я не встречал его по несколько лет. Как бы то ни было, мне всегда представлялось, что он принадлежал к той породе людей, с которыми сойтись по-настоящему было трудно, и я не могу себе представить, чтобы при любых обстоятельствах я решился бы обратиться к нему, чтобы „поплакать в его жилет”. Как мне теперь издалека видится, был он всегда тепел, но никогда не горяч и в какой-то момент подобно улитке заползал в свою скорлупу.

С другой стороны, в течение моей долгой жизни я, кажется, не знавал другого человека, который, подобно Алданову, готов был каждому оказать услугу, даже если это было для него связано с некоторыми затруднениями. Можно, пожалуй, подумать, что в нем был налицо элемент той сентиментальности, которая приводит к „маленькой доброте”. Однако ничто не было ему так чуждо, как „слащавость”, и если иные горькие пилюли ему приходилось подсахаривать, то делал он это потому, что было ему нестерпимо кого-нибудь погладить против шерсти и огорчить. Доброта была в нем больше от ума, чем от сердца, и потому в каком-то смысле не всегда была плодотворной. А его внешнее и внутреннее „джентльменство” делало его своего рода белой вороной в той литературной среде русского зарубежья, которой хотелось казаться еще бо-

лее „богемной”, чем она в сущности была, забывая, что даже на Монпарнасе времена Верлена и Рембо давно канули в вечность и даже там стоял уже „некалендарный” двадцатый век.

Мне кажется, что Алданов был человеком с двойным, если не с тройным дном и его внешняя застегнутость была в какой-то мере показной, некой самозащитой, не столько от посторонних, сколько от самого себя. Он был несомненно много сложнее того, каким он виделся со стороны. Я точно ощущаю, не только при воспоминаниях о встречах с ним, но еще более явственно после перечитывания его книг, высокое мнение о которых я неизменно сохраняю — хотя теперь из какого-то дешевого снобизма стало „модным” снижать его литературный дар и говорить о сухости его прозы или об отсутствии в ней „взлетов”, — что его постоянно что-то грызло, что-то его подтачивало. Упрощая, можно было бы сказать, что игру мысли Алданова-писателя можно без особого труда раскрыть и, собственно, свести ее к великим словам Екклезиаста о суете, но образ Ландау-человека, если отбросить его литературный псевдоним, разгадать много труднее. Свое подлинное „я” он умышленно затемнял и прикрывал его, если не маской, то во всяком случае полумаской.

В некоторых читательских или, вернее, литературных кругах получило распространение мнение о какой-то „будничности” Алданова, о его — должен снова поставить это слово в кавычки — „прозаичности”, о его отталкивании от всякой символики, о его нелюбви к поэтизированию. Думаю, что нет ничего более нелепого и необоснованного, чем такого рода суждения. Ведь несмотря на его позитивизм, в нем была сильная тяга, которую еще подзадоривало его „любопытство”, ко всему тому, что

можно было бы условно именовать „четвертым измерением” или хотя бы к нему хоть как-то приближалось, к розенкрейцерству, к масонству, ко всему, в чем таилась крупица иррациональности без того, чтобы стать шарлатанством. Ведь, неся в себе такого рода тягу, необязательно было во всеуслышание шуметь о каких-то Атлантидах или „египетских тайнах”.

С точки зрения всего пережитого, особенно людьми его поколения, Алданов был человеком счастливой и во многом завидной судьбы. Родился он в семье, которая могла без труда обеспечить едва ли не все его прихоти. Родился еще в эпоху, когда ему казалось, что все для него „море по колено”. „Живи как хочешь” — не вполне удачно озаглавил он один из последних своих романов, но это заглавие было в его буквальном смысле применимо к его биографии. Родился он с врожденным, рано проявившимся талантом и, мало того, с жадным, с неутолимым любопытством к миру, к знанию, к истории — и, может быть, меньше всего к „первым встречным”, какими бы они ни были.

На своем веку он, вероятно, прочитал все, что только было достойно прочтения, не ограничиваясь тем, что по каким-то неписанным правилам прочесть „надлежало”, — и это касалось не только области литературы, но и обнимало философию и все те „точные” науки, как математика, физика или химия, для которых эпитет „точный” оказывался в конце концов устаревшим и условным.

Кончил он, едва ли не походя, два факультета университета св. Владимира, а еще в придачу к ним и как бы невзначай парижскую высшую школу политических наук. В качестве туриста, а, может быть, лучше сказать, стороннего „наблюдателя” побывал он на четырех материках еще в те време-

на, когда далекие путешествия совершались примерно по методу Филеаса Фогга. Все это вместе взятое позволяло ему почти на личном опыте знать понемногу обо всем или, по крайней мере, почти обо всем, но зато почти во всех областях.

В предреволюционные годы этот киевлянин по рождению обосновался в Петербурге. Жил в той атмосфере петербургского „серебряного века”, которая уже давно стала едва правдоподобной легендой. Работал по своей специальности, то есть, по химии, которая, как мне всегда казалось, больше всего его притягивала. Во время войны (конечно, я имею в виду ту первую, далекую) он имел какое-то касательство к заводу, изготавливавшему, если не ошибаюсь, удушливые газы, и мне иногда мыслится, хотя доказать этого не могу, что его большая работа „о законе распределения вещества между двумя растворителями” или гораздо более поздняя об „актинохимии” (для профана одни эти заглавия чего стоят!) давали ему больше морального удовлетворения, чем успех его исторических романов, переведенных на бесчисленное число языков.

В Петербурге он успел перезнакомиться с большинством представителей той либеральной и интеллектуальной элиты, которая могла быть ему интересна и среди которой он сразу почувствовал, что принят как „свой”.

Почему-то примкнул он тогда к партии народных социалистов, небольшой группе очень культурных и патриотически настроенных людей, у которых „социалистическое” проявлялось больше всего на их вывеске. Но это были люди почтенные и всеми уважаемые, многие из них были историками, издавали журнал „Голос минувшего” и принимали близкое участие в деятельности, радикального по

тогдашним понятиям, „Вольно-Экономического общества”, на заседаниях которого накануне семнадцатого года шумели „народные витии”. Допускаю, что Алданов примкнул к партии потому, что кто-то его пригласил, а отказаться от приглашения какого-то старца с белоснежной и благоухающей бородой было, действительно, как-то невежливо. Ведь по своему характеру, по всему своему строю Алданов был не из тех, которые способны были подчиняться какой бы то ни было партийной дисциплине. Но тут был, конечно, случай особый. У народных социалистов о ту пору никакого партийного „мундира” не было, и можно легко предположить, что в руках Алданова никогда никакого „партбилета” тоже не было, ни в прямом, ни в переносном смысле.

А в свободное от химических изысканий и нараставших светских или общественных обязательств время Алданов умудрялся еще работать над большим исследованием о „Толстом и Роллане”. Такое сопоставление сейчас способно вызвать гримасу, но в те далекие дни, особенно в России, Ромен Роллан почитался неким „властителем дум”, а о томиках его „Жан-Кристофа” говорилось, как о чем-то эпохальном. Алданов успел выпустить только довольно увесистый первый том своего первого большого литературного труда, посвященный только одному Толстому. Второй остался в рукописи и, конечно, безвозвратно погиб. Но как-никак эта книга была довольно блестящим преддверием для входа в литературу.

После октябрьской революции Алданов в России оставался недолго. Удалось ему покинуть пределы РСФСР каким-то кружным путем в качестве секретаря одной из тех политических делегаций, которые норовили попасть в Париж до закрытия

Версальской мирной конференции с затаенной надеждой, что их присутствие хоть как-то повлияет, если не на судьбы мира, которые тогда там решались, то по крайней мере на судьбы России. Во главе делегации находился князь Львов, первый председатель первого состава Временного Правительства, один из благороднейших (но и „бесплоднейших“) деятелей либеральной — и какой прекрасной — России. Конечно, по существу поездка делегации была бесцельной, никаких результатов она не достигла, и Клемансо, который всем тогда вершил, было не до нее. Однако самому Алданову пребывание в Париже в эти исторические дни несомненно пошло на пользу. Он обогатил свой исторический багаж, и при наличии известных связей, которые у него завязались еще в те годы, когда он в Париже учился, он кое-какую информацию мог получать из первоисточников, узнавал кое-что из того, что происходило за кулисами большой политики и в печать не попадало, и многое сумел намотать себе на ус. Вообще замечу, что память у него была изумительная, а где-то под рукой всегда была записная книжечка.

К тому же у него был особый талант знакомиться с людьми выдающимися. Этому способствовало не только отличное знание целого ряда иностранных языков, но еще умение найти с каждым соответствующий ключ для разговора и как-то с первых слов заинтересовать собеседника. Этим великим и редким даром Алданов обладал в совершенстве и едва ли кто-либо другой, особенно среди россиян, в течение жизни беседовал с таким количеством людей, имена которых можно найти в любой энциклопедии и которые прославились по самым различным отраслям — науки, искусства, политики.

Многообразие этих встреч, возможно, в какой-то

мере повлияло на создание у Алданова его историко-софской системы и отчасти укрепляло в нем его врожденный скептицизм. Еще в молодые годы он вычитал у Канта (а он прочел чуть ли не всех больших философов от Платона до Ясперса, от „а“ до ижицы, но только не без некоторого кокетства где-то писал, что вот Канта он не всего прочитал!), что „великие люди блестят только на расстоянии, потому что великих людей вообще нет“. Стрела, пущенная кенигсбергским мудрецом, глубоко задела Алданова и ее следы оказались невытравимыми.

Хоть впоследствии он описал целую галерею великих людей „всех времен и народов“, прославившихся на любом поприще, но о словах Канта никогда не забывал и по-настоящему „признавал“ только одного Толстого да еще, может быть, Декарта, которого не переставал перечитывать, может быть, для того, чтобы „его больше не тревожила красота выражений“, мешавшая охватить глубину мысли.

Недаром же первую главу „Discours de la Mèthode“ Алданов считал не только философским, но и стилистическим шедевром или, как он писал, „гениальной увертюрой оперы, в которой намечены мелодии философского и научного мышления трех последующих поколений“.

Но то якобы стройное „картезианское состояние ума“, которое его так прельщало, было особенно ему созвучно именно потому, что вопреки обычному представлению, было наполнено сомнениями. Поклонники и иные наивные комментаторы Декарта сделали его неким автоматом для производства ясных и неоспоримых силлогизмов. Но ведь по существу он никогда не был образцом „ясного рассуждения“ и не зря же его современники считали его очень „темным философом“, который предла-

гал считать ложным все то, во что закрадывалась хотя бы тень сомнения, добавляя, что арифметика или геометрия только чуть-чуть более достоверны, чем другие науки. Мог ли поэтому Алданов, переживший на своем веку переоценку всех ценностей в любой области, не преклоняться перед декартовскими мыслями? не пересказывать их по-своему?

„Картезианцем” в общепринятом и отчасти сниженном значении этого понятия Алданов все же не был. Декарт, вопреки Паскалю, с которым он не прекращал спора, не „боялся вечного молчания бесконечных пространств”, а как раз в этом Алданов изменял своему воображаемому учителю. Едва ли я ошибусь, указывая, что Алданов непрестанно думал о смерти, не способен был скрывать охватывающую его тревогу, и „вечное молчание” пугало его. Хотя он не любил говорить вслух на эти темы, они между строчек проступали едва ли не с каждой страницы им написанного.

Его точно преследовал образ Ивана Ильича и он упоминал о нем и во многих своих романах и в ряде тех „эссе”, на фактуру которых несомненно повлияло знакомство с Литтоном Стрэтчи.

Впрочем, тут можно заметить известную „двойственность” в ощущениях Алданова. Все-таки его любимым, как ни странно, в чем-то наиболее ему близким толстовским произведением оставался „Хаджи-Мурат”, объективно говоря, ни в чем ему не созвучный: если в Алданове-человеке была крупница Ивана Ильича, то — говоря иносказательно — в Хаджи-Мурате было только то, к чему он стремился как писатель. Но именно о толстовской повести он как-то в присутствии Бунина и к его неудовольствию сказал, что ею для той великой русской литературы, которая была признана чудом XIX-го века, была поставлена окончательная точка.

Следовало бы добавить, что наряду с этим утверждением Алданов приводил цитату из толстовского дневника. Лев Николаевич занес в него, что когда он работал над своей „кавказской повестью“, его главным желанием было „выразить обман веры“. Несмотря на это, Алданов — а это давалось ему нелегко, потому что несомненно он считал свой поступок неким „оскорблением величества“, — готов был вступить в полемику с самим Толстым и подчеркивал, что „если только отвлечься от обрядовой стороны жизни, то Хаджи-Мурат в сущности не имел никакой религии и как куст того татарника, который стал символом всей повести, до последнего вздоха отстаивал свою жизнь“. Я остановился на этих алдановских замечаниях, брошенных почти случайно при случайном разговоре, потому что, по-моему, они крайне для его мироощущения симптоматичны.

Алданова волновала или, может быть, в какой-то мере даже угнетала повторяемость у Толстого, его „божества“, темы смерти, не столько в его дневниках или среди тех разговоров, содержание которых затем передавали его собеседники, сколько в его художественных произведениях. Размышляя о Толстом, Алданов как будто отстранял от себя мысль, что думы о смерти присущи каждому живому существу и дело только в умении их скрывать.

У Толстого, если только послушать Алданова, эта тяга была подлинно непреходящей, и он с некоторой удовлетворенностью готов был систематизировать все толстовские описания умирания, чтобы, грубо говоря, этим „выгородить“ себя. Рядом со смертью от чахотки, от сердечного припадка, от ушиба Алданов в своем „каталоге“ перечислял смерти в бою, в рукопашной схватке, затем шли

линчевания, расстрелы, виселицы, убийства и самоубийства. Мало того, как отмечал Алданов, большинство толстовских героев умирало в физических страданиях и без нравственного примирения, причем с одинаковой взволнованностью Толстой мог описывать смерть лошади, дерева, цветка.

Между тем, Алданов так и не разгадал толстовской „загадки“, как совместить слова о том, что умереть можно только „найдя Бога“, с неким восхищением перед дикарством Хаджи-Мурата. Не знаю, подумал ли Алданов о том, что это была „загадка“, не имеющая ответа, или что Толстой об ответе и не думал.

Но как бы то ни было, эта черта толстовского творчества и детали иных толстовских „концовок“ как-то особенно глубоко задевали Алданова, влияя на его творческие замыслы. Так, в описаниях смертей, он вспоминал Ивана Ильича и иной раз не брезгал почти физиологическими подробностями, которые во всех других случаях, особенно в любовных сценах, которые ему не удавались, он всячески старался оставить в тени и чуть преждевременно опустить занавес.

Всех такого рода трагических описаний в алдановских книгах и не счесть. Стоило бы только вспомнить описание смерти Байрона в Миссолонги в „Могиле воина“, или смерть Александра II, разорванного народовольческой бомбой, в „Истоках“, или там же мучительное угасание от рака сановника этого царствования. А еще, может быть, еще другие более жуткие описания — медленное умирание Бальзака, призывавшего на помощь созданного им в романах доктора Бианшона, или, наконец, описание смерти Ленина в „Самоубийстве“, тягостное в своем натурализме, но, конечно, исторически обоснованное. Следовало к этому перечню

добавить описание заката вымышленного, но очень типичного для эпохи, во всем преуспевавшего общественного деятеля и делового человека той России, которая после всех треволнений начала века начинала расправлять крылья. Для этого алдановского героя жизнь после октябрьского переворота стала просто непонятной и потому невозможной, и самоубийство было для него единственным выходом.

В качестве иллюстраций можно было бы тут же перечислить некоторые „пугающие“ заглавия многих алдановских произведений, такие, как „Начало конца“, „Повесть о смерти“, „Могила воина“ или, наконец, „Самоубийство“, полифонический роман, в котором описывается не только гибель большинства его действующих лиц, главных и второстепенных, вымышленных и исторических, но, в первую очередь, и этим расшифровывается заглавие — „самоубийство“ старой, традиционной, исторической Европы, точно умышленно ради этой цели вызванное необоснованной и ненужной войной, возникшей, применяя алдановский язык, из-за цепи трагических по результатам, по числу жертв случайностей.

Случайность... Алданова принято считать рационалистом, человеком, живущим в трех измерениях, слишком хорошо знавшим, что дважды два четыре. Но такое о нем представление допустимо ли согласовать с тем, что теорию вероятностей он считал одной из самых замечательных наук, прекрасно зная, что не существует вполне удовлетворительных определений основных понятий этой теории. Можно ли это согласовать с тем, что, с одной стороны, он преклонялся перед Лейбницем, который во всеоружии науки стремился доказать, что дважды два действительно четыре и, с другой, не без

хитрецы указывал, что, по мнению знаменитого математика Анри Пуанкаре, лейбницевская попытка бесплодна, потому что легко доказать, что его постулат вообще недоказуем!

„Случай”. Случай с заглавной буквы — его Алданов ставил в центр истории, в центр жизни каждого человека. Многие и очень по-разному пытались его определить. Были и такие, которые вообще это понятие решались отрицать, утверждая, что случай — только псевдоним незнания. Между тем, Алданов, порой даже с непривычной для него страстью, верил, что все, что происходит в мире, включая само создание нашей планеты и возможное ее исчезновение, все, все — „дело случая”, и он подчеркивал, что „всю историю человечества с разными отступлениями и падениями можно представить себе, как бессознательную, повседневную и в то же время героическую борьбу со случаем”. В этом — основа его мирозерцания, и эти утверждения, эта борьба, собственно, является лейтмотивом всех его романов, да, пожалуй, всех его писаний, потому что можно было бы сказать, что ни о чем другом он по-серьезному не думал.

Оттого-то, по его глубокому убеждению, ходячее наставление — „ничего не оставляй на случай” — кажется ему предельным выражением высокомерия и легкомыслия. Легкомыслия, потому что все наши знания основываются на вероятности, на случае и в конечном счете способны только доказать, что со всеми нашими открытиями и техническим прогрессом мы мало, что знаем, притом не знаем главного. Более всего вероятно, что Алданов был агностиком и признавал, что не представляет возможности непессимистического атеизма. Пессимистом он был довольно крайним. Ну, а дальше... Никто не способен заглянуть в чью-либо душу.

Случай... Можно иногда говорить, что алдановская теория случая очень пригодились ему для построения его романов, впрочем, и философию Гегеля какие-то ученые „шутники” называли „удобным пансионом на берегу моря”. Неверие Алданова в прогресс, доходящее почти до его отрицания, конечно, могло быть тоже сочтено за „удобный пансион на берегу моря”, но тут было бы уместно напомнить, что по другому случаю говорил Флобер — „лет этак через пятьдесят такие слова, как „прогресс”, „демократия”, „социальная проблема” будут звучать столь же комически, как сентиментальные выражения восемнадцатого века”, и Алданов тут, конечно, мог бы пожалить руку Флоберу, хотя оба они едва ли могли предвидеть, что через каких-нибудь другие пятьдесят лет эти понятия, если еще сохранятся, вероятно, зазвучат трагически.

Случай... Даже „гений” только „шедевр случая”, писал Гельвеций, и эти слова подлинно лили воду на алдановскую мельницу. С превеликой охотой Алданов подхватил их и при этом ссылался в качестве примера на лукавого Фермата, одного из величайших математиков в истории, который своих работ не печатал, по-видимому открыл дифференциальное исчисление и в то же время ко всему относился как к шутке. Фермат дружил с Паскалем и перед обоими стоял один и тот же волновавший их вопрос о вероятности истины. „Вероятность истины” — собственно, это был предел того, кто исповедовал веру в случай, а Алданов был из их числа.

Наряду с этим Алданов указывал, что паскалевские „Мысли” проникнуты неким метафизическим ужасом перед мощью случая, перед бесконечной цепью причинностей, и даже война, говорил

он, любая из войн всегда торжество случая, и было бы нелепо противопоставлять, как это часто делается, вероятность причины вероятности случая. Все в жизни, добавляет Алданов, включая сюда хотя бы искусство полководца, заключается в умелом, подчас в смелом использовании благоприятных случайностей.

В одной из своих философических книг Алданов не без убедительности приводит три красноречивых примера, в которых случай в какой-то мере перевернул историю. Алданов указывает на „девятое термидора“, на войну 1812 года и, наконец, на октябрьский переворот. Все три события произошли, по его мнению, не в силу исторической необходимости, а из-за сцепления тысяч и тысяч случайностей и, собственно, вопреки логике и наперекор нормальному ходу истории.

Так, „девятое термидора“ удалось только потому, что Робеспьер был уверен в непоколебимости своего престижа, так же, как за три месяца до того Дантон был убежден, что Робеспьер не посмеет предать его суду. Удалось еще потому, что Робеспьер совершил роковую для него оплошность: объявляя о своем решении отправить на эшафот новую группу жертв, он не указал никаких имен и каждый в его окружении мог счесть себя включенным в новый список „врагов народа“. Другими словами, личная цепь причинностей переходила в цепь причинностей мировой истории.

В 1812 году все шансы на победу были на стороне французского императора — „у него было огромное превосходство в силах, он мог рассчитывать на гипнотическое действие своей военной славы, и главное, его „несла волна“, чему сам Наполеон придавал огромное значение“. Но случай съедает случай. Нет нужды пересказывать все дета-

ли эпопеи, даже если не всегда и не во всем соглашаться с Толстым, хотя, как это ни звучит парадоксально, как указывает Алданов, перечитавший ради этого все возможные источники и перерывший все библиотеки, Наполеон часто говорил о войне и военном искусстве то же, что Толстой, почти до буквального сходства в выражениях. Чтобы подтвердить свои слова, способные ошарашить читателя, в качестве примера Алданов приводит слова князя Андрея Болконского о том, что „сражение выигрывает тот, кто твердо решил его выиграть”, и эта фраза превратилась в основную „философию войны” самого Толстого. Между тем, за полвека до написания „Войны и мира” Наполеон сказал дословно то же самое теми же словами и Толстому это было ведомо.

Разбирая предысторию октябрьского переворота, Алданов считает, что главная социологическая особенность этого действия заключалась в том, что она противоречила всем „законам истории” и, в первую очередь, тому, что так рьяно проповедовалось его вожаками, то есть, положениям марксизма и исторического материализма. Алданов доказывает — но это стало уже прописной истиной, — что не будь Ленина, октябрьской революции не произошло бы. Между тем его появление в России в тот кризисный момент в сущности было не больше чем „случайностью”. Людендорф мог Ленина через Германию не пропускать или вместо Людендорфа на его посту мог находиться более дальнзоркий и более осведомленный генерал. За две недели до переворота, вспоминал Алданов, на квартире меньшевика Суханова, с благословения его жены, происходило заседание большевистского цеха, о котором теперь не любят в подробностях распространяться партийные историки. На это заседание с каким-то

несуразным париком на голове приехал из Финляндии, где он скрывался, Ленин и поставил на голосование резолюцию о решении начать восстание. В этой резолюции все положения, а их было пять, были ложны. Но на заседании присутствовал один большой человек, а остальные были своего рода „клакой“, которая не „должна была сметь свое суждение иметь“. Едва ли кто-либо из участников собрания способен был предвидеть то, что произойдет, а тем менее собственную участь, которая будет уготована на основании обвинений еще более ложных, чем те, которыми оперировал Ленин.

Кстати, говоря об Алданове, крайне симптоматично, что при всей его не терпящей никаких компромиссов враждебности к коммунизму, он был о Ленине необычайно высокого мнения, и портрет его, который он нарисовал в романе „Самоубийство“ (от своей первой ранней французской книги о Ленине, написанной сразу по приезде во Францию, он всячески открещивался), наиболее схож с оригиналом и наиболее по-человечески убедителен. Составленный из отдельных фрагментов, из ряда эпизодов этот портрет по психологическому восприятию „модели“, конечно, нельзя сравнить с теми „житийными“ описаниями, в которых Ленина выводили на сцену советские авторы, ни с теми схематическими псевдобιοграфиями, шаржированными в ту или другую сторону, которые появлялись в сравнительно недавнее время, когда вполне произвольно оперируют выбранными цитатами из его речей, книг или прокламаций.

Алданов подчеркивает — иногда, вероятно, неохотно — те ленинские черты, которые наиболее „питательны“ для беллетриста. „Это какой-то заряд бешенства и энергии“, бросает словно вскользь одна из героинь алдановского романа. Но это и

„большая сила”, выражая мнение автора, уточняет муж героини.

Даже наружность Ленина описана Алдановым без искажений и без той иронии, которая заметна при описании личности Троцкого или Луначарского, которого фельетоном о „нарком просвещения” Алданов, собственно „убил”.

Я хотел бы еще привести короткую цитату из алдановской книги: „Ленин, — пишет Алданов, — был всю жизнь окружен ненаблюдательными, ничего не замечавшими людьми, и ни одного хорошего описания его наружности они не оставили. Впрочем, чуть ли не самое плохое из всех оставил его друг Максим Горький. И только другой, очень талантливый писатель, всего один раз в жизни его видевший, но обладавший зорким взглядом и безошибочной памятью, рассказывал о нем: „Странно, наружность самая обыкновенная и прозаическая, а вот глаза поразительные — узкие, краснозолотые, зрачки точно проколотые иголкой, и синие искорки”.

Если теперь попристальней всмотреться в алдановское литературное наследство, то, пожалуй, наиболее у него ценным окажется не столько сама фабула, как бы занимательно она ни была построена, сколько его дар композиции, умение налагать один пласт на другой, из книги в книгу делать перекличку своим героям без того, чтобы этот прием мог показаться искусственным или надуманным.

Беллетристические произведения Алданова охватывают без малого два столетия, но в какой-то степени они представляют собой единую, широко развернутую фреску, причем связь между частями читатель часто не замечает, потому что каждая из них вполне „автономна”. Связаны они только цепью повторяющихся тем. Сам он писал, что „искусст-

во исторического романа сводится к освещению „внутренностей” действующих лиц и к надлежащему пространственному их размещению, при котором они объясняли бы эпоху и эпоха объясняла бы их”. С другой стороны, ни в одном из своих романов Алданов не решал никаких политических или социологических проблем. Он считал, что эпоха, когда писалось „Что делать”, давно ушла в небытие, и его целью было осветить историю так, чтобы в руках читателя находилось занимательное чтение.

Какие бы критические замечания по адресу Алданова-прозаика ни высказывались, иногда, вероятно, в чем-то справедливые, какие бы упреки в „западничестве” к нему ни были обращены, все его книги были всегда повествованиями, написанными умным человеком, который, как всякий умный человек, умом своим не щеголяет, не выставляет его на первый план, им не любит, но от него не отрекается, потому что сам его сознает. Если Алданов никогда не вступает со своим читателем в какие-либо „амикошонские” отношения, то в то же время читатель всегда чувствует, что Алданов его уважает, и это придает вес его книгам.

Если допустить, что алдановское литературное наследство кое в чем удаляется от русской литературной традиции и приближается к западноевропейским образцам, к таким „romans-fleuve”, как, скажем, „Сага о Форсайтах” Голсуорси или „Тибо” Мартен дю Гара, то это внесение „свежего воздуха” в русскую литературу, задыхающуюся сегодня, с одной стороны, от серости и штампов, с другой, от паясничанья, можно только поставить ему в заслугу. А попутно можно лишь сожалеть об узости и тенденциозности критических оценок Горького, который характеризовал Алданова, „как писателя

чрезмерно умного, но с чужим насквозь творчеством". Поставив это последнее слово в кавычки, Горький наглядно показал уровень своих критических оценок — ему, конечно, было более с руки не жалеть похвал историческим романам Ольги Форш или Чапыгина. Разговор об алдановской „чужеродности", которая его царапала, вероятно, вызывался тем, что в глубине души он мог сознавать, что алдановские романы, буде они достигнут советской земли, найдут несчетное число читателей, когда многое из того, что создавалось по горьковским канонам, давно истлеет.

Алдановские герои, и это наиболее ощутимо в тех его книгах, которые описывают годы, совпадающие с кануном революции или дальше — доходящие почти до наших дней, нередко настолько скульптурны, что читатель готов увидеть в них своих знакомых, приклеить к ним этикетки с именами. Да, Алданов часто создает их, придавая им оттенок пошлости, не делая их ни в каком смысле „героями". Но ведь Алданов — человек зрячий, и если он описывает определенное общество, определенные его слои, то именно в силу этого, как наблюдатель, он неминуемо должен был вводить „пошляков", потому что он их действительно встречал в жизни. Не все присяжные поверенные и не все приткие газетчики были „героями", были и Кременецкие, и Дон-Педро, и они списаны с натуры и отнюдь не шаржированы. Впрочем, иногда у Алданова замечается и обратное: рисуя исторических деятелей, знакомых читателю чуть ли ни со школьной скамьи, он приоткрывает обратную сторону их казенных биографий. Алданов хорошо знает, что и у „героев" есть изнанка и не всегда они изрекают крылатые фразы. К тому же, он достаточно осведомлен о том, что о любом истори-

ческом событии потомки могут больше знать, чем современники, он знает вес свидетельских показаний. Но в то же время Алданов учитывает, что историческому романисту легко поскользнуться и прельститься бутафорией. Поэтому Алданов никогда не нажимает педалей, ничего не утрирует и не впадает в карикатуру, какой бы она прельстительной для беллетриста ни была. Впрочем, свои первые четыре исторических романа, свою тетралогию, он объединил под общим названием „Мыслитель”, имея в виду статую химеры, стоящую на крыше собора Парижской Богоматери и с высунутым языком оглядывавшую то, что творится под ее ногами. Символика довольно злая.

Если Алданову удавались портреты исторических лиц (стоило бы упомянуть, как в нескольких строчках он изобразил австрийского императора Франца-Иосифа или подлинного представителя „русской безмерности” Савву Морозова, Бетховена или Муссолини), то менее удавались ему женские образы. Вообще все любовные истории, которые он описывал, а обходиться без них он не мог, выходили у него примерно на один лад, хотя иной раз для таких сцен он по-серьезному... документировался. Стоило бы только напомнить о той любовной истории, которая довольно детально описана в „Истоках”, когда один из героев романа влюбляется в цирковую наездницу. Из боязни допустить какую-нибудь неточность и чтобы иметь возможность авторитетно объяснить суть „тройного сальто-мортале”, Алданов, как он сам рассказывал, на недолгий срок присоединился к такому цирку и вместе с ним кочевал по Соединенным Штатам, зная, что быт и атмосфера этих бродячих цирков не меняются ни с годами, ни с широтами.

В своем завещании Алданов просил свою жену

все оставшиеся после его смерти черновые наброски, как и незаконченные или не обработанные им произведения сразу предать огню. Эта его воля была в точности выполнена и поэтому из его архивов сохранилось только то, что он сам еще при жизни передал некоторым американским университетам.

Но вот — в литературном наследстве Алданова значится небольшая повесть, задуманная сперва как сценарий для фильма, затем в виде фельетонов появившаяся на страницах нью-йоркской газеты „Новое русское слово“, после этого неопрятно изданная каким-то канувшим в Лету издательством и, наконец, в исправленном виде уже посмертно выпущенная франкфуртским „Посевом“. Грозное название повести „Истребитель“ сразу смягчается подзаголовком, составленным в стиле, напоминающем вольтеровские подзаголовки и гласящем: „Рассказ о скромном советском гражданине, Ялтинской конференции, и о том, как она отразилась на его жизнь; с художественной характеристикой трех главных ее участников, решавших судьбу мира“. Кажется бы, к этому уже нечего прибавить, фабула рассказа заранее дана и можно тут же почувствовать символический оттенок самого заглавия — излюбленное Алдановым противопоставление маленького, незаметного человечка тем „великанам“, которые где-то по соседству вершат историей.

„Истребитель“ — рассказ о старом и почтенном русском интеллигенте, ставшем своего рода „ископаемым“ и силой обстоятельств (силой случая!) осевшем в Алупке неподалеку от Воронцовского дворца. Герой повести или, может быть, правильнее назвать его „антигероем“, как-то уцелел после всех бедствий, обрушившихся на Крым, и чтобы

прокормиться — был он когда-то химиком, — придумал себе редкую профессию „истребителя”, вопреки своему звучанию, ничего устрашающего не заключающую. Этот Иван Васильевич (фамилии его читатель так и не узнает) способами весьма допотопными истреблял вредных насекомых, угрожающих виноградникам и садам, а вне сезона брался и за истребление клопов и прочей домашней нечисти — работа в то время весьма полезная.

Но так случилось, что перед самым открытием Ялтинской конференции (происходила она, кстати сказать, в Алушке) он получил приказ очистить свою „саклю”, как он называл свой домишко. Уж слишком близко находилась она от Воронцовского дворца, в котором происходила работа конференции.

Таким образом, по прихоти Алданова, вокруг нее скрестилось несколько планов: бытовой, с маленькими людьми, с обывателями, с их, кроме них самих, никому не интересными переживаниями, и другой — почти эпический — описание международной конференции, каждому из участников которой суждено было попасть на „скрижали истории”. Любил Алданов издавна на страницах своих книг сталкивать гигантов с мурашками, и следовало бы в скобках отметить, что описание гигантов получалось у него более рельефно, чем описания мурашек.

Я подробно остановился на этой повестушке Алданова, с какой-то точки зрения являющейся постскриптумом к его четырнадцати историческим романам, не только потому, что она была среди последних созданных им беллетристических произведений и была почти обойдена критикой, но потому, что в мои руки попал авторский экземпляр первого издания „Истребителя” с многочисленными

правками. Эти правки отчасти вводят в творческую лабораторию писателя и наглядно показывают некоторые его методы, кое-что прибавляют к тому, о чем можно было только догадываться, даже если алдановские исправления, как в данном случае, касаются не столько самого содержания повести или хотя бы отдельных ее эпизодов, сколько некоторых — для читателя едва заметных — деталей и благодаря этому самой психологии автора.

Первое, что бросается в глаза при сличении обоих текстов, — довольно значительные, особенно принимая в расчет размеры повести, сокращения, которые едва коснулись той ее части, в которой описываются дела и дни именитых участников конференции. Создается впечатление, что эта часть повести была написана как бы единым росчерком, почти без помарок. Алданов, видимо, был хорошо осведомлен обо всей подноготной ялтинского действия.

Возможно, что при окончательном редактировании своей повести Алданов вспоминал бунинское наставление, которое сам Бунин унаследовал от Чехова: закончив написанное, первым делом вычеркнуть первый его абзац, а затем без устали сжимать и сжимать первые редакции текста.

Действительно, Алданов жестоко „расправлялся” с разного рода словесными украшениями, уничтожал все красоты, вроде описания дворцовых великолепий, вычеркнул описание скудной библиотечки своего героя, оставив ему только Священное Писание да еще какой-то роман Жюль Верна, который служил ему копилкой. Кому придет в голову перелистывать какую-то книгу? Затем Алданов убрал имеющиеся в первом варианте повести непривычные для его уха советские словечки типа „буза”, „собирай манатки”, „пока”, „гвоздь па-

рень". Можно предположить, что он боялся — и это было бы на него очень похоже — что вставлял их в свои диалоги не вполне кстати, не совсем так, как это было принято в разговоре эпохи. Вычеркнул он и упоминание о тургеневском „лишнем человеке", примененное к своему герою. Вероятно, он подумал, что тургеневский образ едва ли уместен для истребителя филоксеры — занятие, которое сам Алданов отнюдь не презирал, тем более, что его Иван Васильевич в свое время напечатал в ученых изданиях статьи об „опрыскивании" и борьбе с виноградной блошкой, а одно это, с точки зрения Алданова, уже было достойно уважения.

Конечно, все эти сокращения и маленькие изменения носят исключительно технический характер и морали маленькой „притчи" никак не меняют, не затрагивают основной ее идеи — опять-таки „неизменной" роли случая в истории; в данном примере эту роль, в первую очередь, выполняет болезненное состояние Рузвельта. Наряду с этим, всплывает на поверхность и другое пристрастие Алданова — воскрешать тех маленьких людей, которые незаметно находятся в тени исторических событий, может быть, сами не ведая о том, что происходит за их спиной.

Добавлю, что перед тем, как засесть за роман о французской революции, Алданов долго работал в архивах и библиотеках, заполнял свои рабочие тетради выписками и, таким образом, располагал почти необъятным материалом. Но все же он счел нужным встретиться с Оларом и Ленотром, авторами классических трудов по этой эпохе. Он хотел добиться от них подтверждения правильности своих гипотез, указаний, что он не совершил хотя бы еле заметных фактических погрешностей.

Можно поэтому думать, что, имея достаточно свя-

зей, ему удалось проинтервьюировать кого-либо из тех, кто в составе иностранных делегаций находился в те дни в Ялте, — конечно, не из числа тех, которые появлялись на авансцене, да, кстати сказать, „звезды” едва ли сумели бы нарисовать беллетристу нужные ему детали. Но все, что он мог услышать от свидетелей, как обычно, он подвергал критическому анализу, рассматривал сквозь свой „стетоскоп”. Заполняя своим мелким почерком белые листы бумаги, он восстанавливал перед собой реалии, внимательно знакомился с газетными репортажами, прислушивался к разговорам вернувшихся из Крыма военных корреспондентов, но до конца никому не доверял, не верил в точность якобы общеизвестных фактов, считал, что в описании каждого из них обязательно есть какая-то, хотя бы незаметная с виду трещинка или что всегда они приглажены и причесаны. Так он поступал всегда за своим письменным столом или еще чаще за столиком кафе, где он любил работать, может быть, более охотно, чем у себя дома. Суммируя все извлеченное из разных источников, он воздвигал над всем свои собственные „надстройки” и они были тем зерном, от которого произрастало его повествование. Рассмотрение вариантов маленькой повести „Истребитель” только служит тому красноречивым примером.

В конце повести герой ее, Иван Васильевич, проходит мимо тех мраморных львов, которые украшают лестницу Воронцовского дворца, опустевшего с завершением конференции: один из львов спит, другой рычит, третий готовится к прыжку. Глядя на них, Иван Васильевич подумал: „Да, за все бывает расплата, кроме того, за что расплаты не бывает”. Эти несколько самых последних слов Алданов для нового издания повести вычеркнул

и в этом вычеркивании несомненно заключается центр тяжести всех поправок, они как будто отражают некоторое изменение историсофской концепции автора, которое произошло за несколько лет, прошедших со дня окончания Ялтинской конференции. За этот короткий срок он что-то в себе перерешил и пришел к выводу, что „за все бывает расплата”. Только когда она приходит? — может спросить нетерпеливый читатель.

Устами Ивана Васильевича Алданов заранее отвечает ему. „Нет, конечно, нельзя сказать, будто меня не касается то, что делается во всех этих и других дворцах, только мы никого не интересуем, нам ни от кого нечего ждать и я — грешный буду, видно, и дальше жить, как жил, буду работать, пить по вечерам наливку и любоваться этими волшебными садами”.

Алданов любил иносказания, не будучи символистом был равнодушен к символам, не будучи поэтом знал и чувствовал поэзию, но, главное, „он принял решение нигде не быть актером, а всюду зрителем всевозможных ролей, разыгрываемых на театре мира”. Я ввел эту фразу, поставив ее в кавычки, потому что это не мои слова, я воспользовался переводом из биографии Декарта, написанной неким Байе и вышедшей в 1691 году. Но оговорюсь — меня, само собой разумеется, засмеяли бы, если этой цитатой я вздумал бы проводить какую-то, самую отдаленную параллель между великим философом и русским беллетристом. Такая мысль была мне, конечно, в корне чужда, тем более, что сам Алданов, говоря о себе, всегда избегал пышных слов и громоздких сравнений и принял бы такое сопоставление за насмешку. Но эта фраза — опять-таки дело случая — попалась мне в каком-то алдановском тексте, и мне показалось, что она

может быть уместна, чтобы закончить посвященную его памяти статью.

Я начал эту статью с рассказа о моей последней с Марком Александровичем встрече, прибавлю только, что когда он уходил, он сказал мне, что завтра возвращается в свою любимую Ниццу, где ему так хорошо работалось, но вернется в Париж через месяц-другой, и мы тогда же условились о новой встрече, чтобы переговорить о кое-каких проектах, обсудить которые в тот вечер не удалось. Действительно, в назначенный срок сестра Алданова пригласила меня на ужин с „Максом” (это была его домашняя кличка), но за два дня до назначенной даты алдановский племянник сообщил мне об отмене ужина — „Макс неожиданно скончался”.

Смерть его была подлинно бесшумной. Его под утро нашли у окна, которое он, видно, пытался раскрыть, но до оконной ручки уже был не в силах дотянуться. Он рухнул на пол, не успев позвать на помощь жену. Думается, что он такой финал предчувствовал. Конечно, не самый момент или обстоятельства его прихода, но в последнее время на его лице было как бы начертано, что не жилец он на этом свете и что надобен только маленький „случай”, чтобы с этим светом распрощаться.